

Лев КАССИЛЬ

ЛЮДИ ЭТОГО ВОЗРАСТА



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
№ 6
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА — 1946

Лев КАСИЛЬ

ЛЮДИ ЭТОГО ВОЗРАСТА

РАССКАЗЫ

Издательство «ПРАВДА»
Москва — 1946

ЛЕВ КАССИЛЬ

Лев Абрамович Кассиль родился в г. Энгельсе, б. Слободе Покровской, на Волге, в 1905 году. Отец — врач. Мать — учительница музыки. Учился до Октябрьской революции в гимназии, затем — в советской трудовой школе и в Московском университете, на физико-математическом факультете. Впервые напечатался в 1925 году. Был тесно связан с Маяковским и его журналом «Новый Леф». Долгое время работал фельетонистом и специальным корреспондентом «Известий» по СССР и за границей (Турция, Испания). Автобиографические повести «Кондуит» и «Швамбрания» принесли писателю широкую популярность среди юных и взрослых читателей. Широко известны также книги Кассиля «Вратарь Республики», «Черемыш — брат героя», «Маяковский — сам», «Великое противостояние», «Дорогие мои мальчишки» и др. Ряд их переведён в Западной Европе и Америке.

Во время Великой Отечественной войны Кассиль был специальным корреспондентом Всесоюзного Радиокomiteта на Северном флоте, на Западном и 1-м Украинском фронтах. Был спецкорреспондентом с футбольной командой ЦДКА в Югославии.

ЛЮДИ ЭТОГО ВОЗРАСТА

Памяти Героев Советского Союза Сгибнева и Фисановича

Когда узнали, что Свистневу и Фальковскому присвоили звание Героя Советского Союза, обоих не оказалось на земле.

Фальковский за несколько дней до этого ушёл на своей «Малютке» в море, а Свистнев только что улетел с аэродрома, чтобы обеспечить с воздуха проводимую операцию. Немцы пытались в то утро, пользуясь туманом, провести в один из северных портов Норвегии караван больших транспортов. Наша разведка вовремя выследила их, и Фальковский, плававший как раз в тех квадратах моря, получил по радио указание — идти и топить.

В район прохождения транспортов вылетели наши бомбардировщики и торпедоносцы. Караван транспортов шёл под солидной охраной сторожевиков. С вражеского берега пришли «мессеры». Они прикрывали караван с воздуха. Пришлось поднимать и нам свои «ястребки». Словом, разыгрывалось одно из обычных в Баренцовом море сражений. От подводных глубин до заоблачных высот, грохоча и визжа, рвався металл, хлопья пены смешивались с дымом выстрелов, и огненные судороги пронизывали воздух и волны. Туда, к норвежским берегам, и помчался на своём «ястребке» Павел Свистнев. А через двадцать минут после его вылета на самом северном в мире аэродроме узнали, что Паша Свистнев, командир эскадрильи истребителей, «получил Героя».

Случилось это в тот день, когда на базу флота прибыла делегация уральцев. В гости к североморцам приехали мастера с зауральских танковых заводов, ревдинские медеплавильщики, берёзовские старатели, сталевары с Верх-

Исетского завода и с Уралмаша. Они привезли в подарок морякам изделия из самоцветов — яшмы, хризолитов, тяжёлые чёрные фигуры каслинского литья, хитро сработанные модели кораблей, изделия из малахита — искусную работу уральских камнерезов.

Гости оставили свои подарки на главной базе, а потом разделились на группы. Андрей Петрович Барахтин, старый золотоискатель из берёзовских старателей, прихватив с собой молоденькую, но уже знаменитую мартенщицу Зою Роголёву с Уралмаша, поехал на аэродром. Их обещали познакомить со Свистневым, но, когда они подъезжали к аэродрому, над сопками и ползучими полярными берёзками стланкой прошли, расшвыривая клочья тумана, истребители. С немислимым рёвом, все сразу, как один, они круто взмыли вверх — через минуту их уже не было видно, ещё минута, другая — и уже не стало слышно их.

— Свистнев повёл! — сказал Петя Кекуров, бортмеханик, разглядевший Зою Роголёву, едва она вышла из «эмки», и теперь не отходивший от молоденькой гостьи. — Опоздали чуть-чуть. Срочный вылет. Ничего, через часок будет обратно, тогда и познакомитесь. Увидите тогда, каков наш Свистнев.

На аэродроме стало пусто и тихо. Только из-под маскировочной сетки, покрытой ветвями, доносился лёгкий стук: механики возились там с самолётом, укрытым в тени и зелени. Андрей Петрович Барахтин, любопытствуя, бродил вдоль палаток, мягко ступая по сыроватому мху своими остроносими, старомодными сапожками, на которые были низко спущены, по-уральски, просторные шаровары.

Тут и пришло по телефону сообщение о том, что Свистневу присвоено звание Героя. Мгновенно об этом узнали во всех уголках авиабазы. У командного пункта собрались лётчики, механики, бойцы вспомогательной службы. Всем не терпелось скорее поздравить Героя. Люди смотрели то на небо, то на поле, то друг на друга, ревниво примериваясь, кто первый сумеет добежать до посадочного знака и раньше всех других сообщить Свистневу о награждении. Но Петя Кекуров давно уже решил, что он никому этой чести не уступит. И хотя Петя был весь поглощён беседой с хорошенькой гостьей, однако он всё время наблюдал за небом. Когда ещё никто на аэродроме ничего не видел и не слышал, Петя уже заметил над далёкой скалой едва видимые чёрточки в небе.

— Идут, — шёпотом сказал он Зое, — четвёркой идут. Сейчас будет и сам Свистнев. Он всегда так: первый — в бой, последний — из боя. Теперь смотрите, сейчас появится, всех за хвостом оставит.

И всё было так, как сказал Петя Кекуров. Маленький самолёт пронёсся над головами стоявших, взмыл над сопками, развернулся, показав на солнце красные звёзды, и первым пошёл на посадку. Едва колёса его коснулись мшистой поверхности поля, Петя Кекуров был уже там. Он бежал за рулившей машиной, держась за скользкое крыло, и кричал:

— Тебе, Павел, Героя дали!

— Чего дали? — кричал в ответ Свистнев, растёгивая шлем.

— Героя дали! Слышишь? Советского Союза. Понял?

Мотор разом стих. Винт рубанул ещё раз воздух и застыл. Кекуров вскочил на крыло, помогая лётчику отстегнуть ремни и вылезти из сиденья. Свистнев, высвобождая подбородок из-под застёжек шлема, растерянно посмотрел на бортмеханика:

— Брось, слушай, травить... Надоело, честное слово.

Но уже бежали со всех сторон люди, окружали машину, протягивали руки, стаскивали Героя с крыла. И не успев ступить на землю, Свистнев снова взлетел на воздух. Его качали.

— Стойте... Да будет... Погоди! — отбивался Свистнев. — Ещё кому дали? Исаак получил?

— Получил, получил твой Исаак. Оба получили, на пару...

— Механики! Живенько взяли самолёт на заправку!.. — вдруг резко скомандовал Свистнев, увидев подошедшего комполка. — Товарищ майор, разрешите вылететь сейчас ещё раз! Там дело серьёзное. Они Исаака обнаружили, а у него, видно, что-то с рулями. Он уйти не может. Всплыл... Я с воздуха видел...

Петя Кекуров, забыв о госте, уже нырнул под самолёт. Так, ничего толком и не понявшая Зоя видела, как лихорадочно работали люди у свистневской машины. Слышала она, как командир авиаполка уговаривал Свистнева отдохнуть: можно послать других, — а Свистнев упрямо мотал своей круглой головой. Потом взвилась зелёная ракета, взревел воздух — и Свистнев опять пропал в небе.

— Две вершины есть в мире, — указал восхищённый Кекуров, не сводя с неба завороченных глаз. — Две вершины:

Эверест-Гауризанкар и машина Свистнева. Полетел дружка прикрывать.

И он принялся рассказывать Зое о Свистневе, о Фальковском, о большой, завидной дружбе двух Героев. Через несколько минут Зое было уже известно о Герое всё, что можно было узнать, и даже немножко больше, потому что восторженный Петя, повествуя о своём пилоте и его подводном друге, не жалея красок и дал полную свободу собственному воображению.

* *
*

Свистнев и Фальковский сблизились с первых дней войны здесь, на Северном флоте. «Победитель полярных глубин и гроза заоблачных высот», — как любил выражаться о них Петя Кекуров. Моря Севера велики, и Свистневу редко приходилось ходить с Фальковским в одной операции. Сдружились они на берегу. Оба молодые — обоим по двадцать пять лет, — оба влюблённые в своё дело, полное риска, дерзости, смелого расчёта, они сошлись в прочной дружбе — горячий, подвижный, быстроглазый Фальковский и чуточку угрюмый, невозмутимый на земле, но яростный в бою Свистнев. У Фальковского в Минске осталась вся семья — жена, старуха-мать, две сестры... Он считал их погибшими, но нет-нет, да и возвращался к потерянным надеждам. У Свистнева все надежды давно были прикончены телеграммой, которую он, уходя в воздух, всегда клал вместе с картой под планшетку своей сумки. В этой телеграмме сообщалось, что мать, братишка и старшая сестра погибли в Ленинграде от немецкой бомбы. Отец и брат лётчика были убиты на Ленинградском фронте — оба воевали там. Отец — старый путиловец — был комиссаром ополчения, брат — бойцом.

Товарищи редко говорили о своих печалях друг с другом. Свистнев, видя, как наводят алой краской очередную звезду на фюзеляже его «ястребка» в знак новой одержанной им воздушной победы, мрачно усмехнувшись, говорил: «Так, есть ещё один». И осторожно клал ладонь на планшетку, под которой, поверх карты, лежала уже пожелтевшая и потрёпанная телеграмма. А на фюзеляже его самолёта красовались уже семнадцать звёзд. Фальковский, возвращаясь из похода, выпалив у входа в гавань из пушки столько раз, сколько кораблей им было потоплено за поход,

говорил боцману: «Ну, преферансисты, доставайте мелок. Спишем со счётика...» И на мостике его лодки уже значилась цифра «одиннадцать» — одиннадцать потопленных немецких кораблей.

«Он стоял на мостике, и взгляд его был полон решимости!» — так говорил о Фальковском красноречивый Петя Кекуров.

Но взгляд Фальковского часто был полон не только решимости. Храбрый до дерзости, молниеносно принимавший самые смелые решения в море, он на берегу всматривался в жизнь с острым и немножко печальным вниманием.

— Сеедем мы с тобой, Павел, раньше времени, — говорил он другу. — Что делать! Война досталась именно нам. Мы с тобой родились тюгелька в тюгельку и подгадали в самый раз. Посмотри кругом: всё нашего возраста народ.

— Так оно и должно быть, — отзывался Свистнев. — Раньше другие за нас воевали... Четырнадцатый год, гражданская война, теперь и наш черёд пришёл. Повоюем за тех, кто для нас воевал. Повоюем и за тех, кто после нас жить станет. А мы своё дело сделаем, Исаак.

— Кто говорит, что не сделаем. Уж кому, а нам-то с тобой есть за что воевать!

— Точно.

Друзья вспоминали свои комсомольские годы, классы в школе, цеха новой фабрики, открытие рабочего дворца, экскурсии на юг, работу в колхозе, клубные вечера, недавние бои, и свои первые ордена, и свою первую любовь... И жизнь представляла перед ними большой, востительной, тревожной. Надо было защитить, отвоевать её, чего бы это ни стоило. Они с гордостью ощущали, что на них, двадцатипятилетних, возмужавших вместе с молодой странной-ровесницей, — на них и на всех, кто вырос с ними, лежит высокая, благородная и неумолимая ответственность за страну.

И они бились за неё: один — в мгlistых и морозных высотах Арктики, другой — в ледяных водах Заполярья.

* *
*

...Уже последние капли бензина израсходовал мотор Свистнева. На аэродроме нервничали. Давно прошли все сроки возвращения, а Свистнева не было. Сесть по пути он не

мог: скалы, топи, море... Андрей Петрович Барахтин, покусывая дымчатый ус, хмуро осматривал горизонт. Зоя Роголёва с беспокойством глядела то на небо, то на обеспокоенное лицо давно примолкшего Пети Кекурова. И когда уже всё казалось непоправимым, вдруг из-за сопки, под семицветной аркой только что проступившей в небе радуги, постреливая мотором, выдыхающимся от недостатка горючего, появился самолёт Свистнева. Через три минуты Свистнев соскочил с крыла.

— Еле можаху дотянул, — пробормотал он, — всё в порядке. Исаак пошёл, исправился. Я над ним всё вертелся... Петя, кстати, завтра намалую ещё звёздочку. И дырки там есть свеженькие. Заделать придётся.

И Зоя, глядя на него, никак не могла представить себе, что этот очень молодой, нетерпеливый человек только что был у чужих, неведомых берегов, бился в воздухе над холодным морем, клевал своим истребителем немцев, спасая друга, и не уходил от него, хотя мотор уже костенел без горючего...

А к вечеру на базе подплава встречали Фальковского. Герои крепко обнялись, посмотрели друг другу в глаза, сконфуженно улыбнулись, и оба ничего не сказали. На пирсе собрались моряки, подводники, лётчики. Пришёл сам командующий флотом, тоже совсем ещё молодой на вид. Дул ветер в заливе. Чайки срывались с волн, доносился их злой писк, словно это вскрикивал сам ветер.

Потом Андрея Петровича Барахтина пригласили на лодку. Он легко спустился по скобтрапу в узком железном колодце люка и очутился внутри подводного корабля. Ярко горели электрические лампы. И старому уральскому старателю показалось, что он у себя на руднике, в своей шахте. Так же шумели над головой вентиляторы, посапывала помпа, горели лампочки в туннелях-отсеках, и люди ловко, уверенно действовали в этой глухой железной теснине.

— Что у вас под водой, что у нас под землёй, — сказал Андрей Петрович Фальковскому, но, спохватившись, тут же добавил: — Равнять не хочу, дело у вас, конечно, поважнее нашего. Опасности куда больше... А народ, я гляжу, у вас всё молодой. Сами какого года рождения будете?

— Тысяча девятьсот семнадцатого, — сказал Фальковский. — И вот товарищ Свистнев тоже. Знакомы?

— Эх, суслики вы, — с ласковой и грубоватой усмешкой

сказал Барахтин. — Из моей жизни, выходит, чуть не три ваших нарезать можно, если по годам считать.

— По годам — я не возражаю, — засмеялся Фальковский. — Но в смысле переживаний это, папаша, ещё вопрос.

— Мы, старые, проходку для вас подедали... Своим горбом заработали. А уж вы теперь это грудью заслоните.

— Будь покоен, отец, заслоним, — сказал очень серьёзно Свистнев.

Вечером Героев чествовали в Доме флота. После торжественного заседания были танцы. Когда настал комендантский час и зал опустел, оба Героя вышли на улицу. Было очень темно. Посёлок уже замирал в непроглядном мраке затемнения. Скрипнула дверь, и друзья услышали голос Пети Кекурова:

— Чего тут неловкого? Разве вы с ними тоже уславились?.. Я, конечно, возражать не имею права. Но не знаю просто... Им интереса нет к вам, лично: по годам уже не совсем подходят.

— Что вы, они совсем молодые! Вы сами-то какого года? — спросила Зоя.

— Двадцать третьего. Шесть лет разницы.

— Двадцать третьего? — сказала Зоя. — Значит, на два года старше меня.

И они ушли, затихнув в темноте. Некоторое время Свистнев и Фальковский молчали. Потом Свистнев широко и медленно вздохнул: «Слышал? На два года ещё моложе Петьки... А уже известна на всём Урале».

Фальковский быстро проговорил:

— Теперь ты чувствуешь, Павел, сколько уже времени прошло, сколько дел сделано, какие девушки подросли, пока мы живём с тобой на свете?..

Они пошли рядом вдоль моря, медленно ступая в темноте, чувствуя себя одновременно старейшинами и ровесниками нового племени, народившегося за четверть этого грозного и удивительного века.



АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ

Сам Перчихин полагал, что, будь у него мало-мальски подходящий голос, он, несомненно, стал бы знаменитейшим певцом. Но голоса у Семёна Перчихина не было никакого, даже самого неподходящего. Зато он обладал совершенно феноменальным по остроте слухом. Я ещё не встречал человека со столь чутким и точным ухом. Это и определило его военную специальность.

Родом он был из Кронштадта. Вырос в семье коренных балтийцев. Но плавать ему довелось на северных морях за Полярным кругом. Поразительная острота слуха, умение распознавать звуки, которые никто, кроме него, не улавливал, пригодились Семёну Перчихину на флоте. Музыкальная карьера, о которой мечтал он, не получила здесь развития, но зато старшина второй статьи Семён Перчихин стал превосходным гидроакустиком на гвардейской крейсерской подводной лодке, которой командует Герой Советского Союза Звездин.

Когда подводный корабль уходил в дальнейшее автономное плавание тайком, с немыслимой смелостью пробираясь в районе, где стояли вражеские суда, связь с внешним миром обрывалась. Нельзя даже было принимать радио, так как чувствительные пеленгаторы, аппараты-искатели на неприятельских кораблях могли бы поймать слабое излучение в эфир, неустранимое даже тогда, когда радиоаппаратура лодки работает на приём. Лодка выдала бы этим своё место, и тогда — поминай, как звали...

В таких случаях приходилось подолгу идти в подводном положении. Опасно было даже на мгновение поднять перископ. Единственной связью со всем, что оставалось за железными бортами лодки, были в эти минуты уши Перчихина. Перчихин, втиснутый в крохотную каютку, безвылазно сидел у своих гидроакустических аппаратов и, ущемив голову наушниками, неотрывно слушал море.

Сколько раз предлагал он и мне послушать... Я тоже надевал наушники, слышал бормочущий и томительный, продёрнутый тонким шумом шорох моря, и он мне ничего не говорил. Но для Перчихина раскрывалась целая книга едва уловимых звуков, ему одному понятных шорохов.

— Как же вы не разбираетесь? Вот, послушайте, — пояснял он, возвращая мне наушники, — пух-пух-пух-пух, редкий такой звук, тяжёлый, с придыханием... Это транспорт ползёт, солидная посудина. Километра четыре отсюда. А вот хорошо прослушивается стучок такой, переливчатый, металлом отзванивает, слышите? Это уже миноносец пошёл. А где-то ещё ботишко топает, слышите: движок у него кудахчет.

Но как я ни напрягал слуха, в ушах стоял только ровный, однообразный, легонько звенящий гул. Однако, подняв перископ, мы видели на поверхности моря всё, что слышал в глубинах его Семён Перчихин: и большой грузовой корабль в отдалении, и миноносец, конвоирующий его, и маленький рыбацкий бот, выходящий из гавани.

Море несло в себе тысячи шумов, и каждый из них был ясен и знаком Перчихину. Он легко расшифровывал эти звуковые иероглифы, и чуткое ухо его никогда не путало внешних звуков с целым оркестром шумов, шорохов, перевонов, стуков, которые жили в самой подводной лодке, производились ею и тоже прослушивались через акустические аппараты. Перчихин с волшебной точностью распознавал малейшее движение на своём подводном корабле. Он безошибочно определял, какой механизм действует, каким ходом идёт подлодка. Тиканье хронометра, постукивание помпы — всё слышал Перчихин. Он знал по звуку походки командира, боцмана. Доходило до того, что Перчихин, не сходя с места, лишь приоткрыв двери своей каютки, кричал коку:

— Эй, в камбузе!.. Миронов, у тебя там кипит чего-то. Смотри, чтобы не убежало.

О его необыкновенном слухе уже складывались целые легенды. Моряки охотно преувеличивали удивительные способности своего акустика, а сам Семён Перчихин не слишком стремился разоблачать эти рассказы. Он непрочь был и сам блеснуть своим действительно невероятным по чуткости слухом.

— Ну, Перчихин, что слышать? — спрашивали его соскучившиеся в долгом и трудном походе подводники.

Перчихин, сидя согнувшись над своими аппаратами, приподняв один наушник и поглядывая из-под него на заглянувших к нему товарищей, неспеша докладывал:

— Что слышно? Да всякое слышно. Вот катер пошёл километров пять отсюда. На форту кто-то песни поёт под гитару. Сейчас скажу, что поёт. Ага! «Любил я очи голубые!..» У гитары новый строй, только на одной струне лабина. Эх, ту-поухие! Не в тон настроили... А вот сейчас камбала мимо нас проплыла. Определённо камбала. Треска не так ходит, у трещёчки звук другой.

— Да будет тебе травить, — смеялись подводники. — Как же это ты рыбу можешь слышать?

— Знаешь, какое ухо у меня пронзительное, абсолютный слух, — не сдавался Перчихин. — Я самую тихую тихость чую. Я слово слышу, когда оно ещё к тебе на язык только ладится, как присесть... Ты его ещё не сказал, может быть, оно у тебя ещё только в мозгах шевелится, а я уже его слышу. Вот, например, Костя Миронов смотрит на меня сейчас, и вот он сейчас скажет: «Врёшь ты всё, травила несчастный!»

— И верно, что травила, — сердился кок.

— Ну, вот я же говорю, что слышал заранее. Ты же сам так и сказал.

Миронов отплёвывался, махал рукой и уходил в другой отсек. А Перчихин кричал ему вдогонку:

— Иди, иди, а то у тебя в животе бурчит, это мне на барабанную перепонку действует!

— Эх, — говаривал мне не раз Перчихин, — мне бы с моим слухом оперы на проверку брать, в лесу птицам голоса ставить!.. А я из-за данных военных условий должен фрицев прослушивать, всю их пакость. Довольно-таки неблагоприятно для моего слуха.

Как-то подводники решили подшутить над Перчихиным. Когда он однажды спускался вниз по скобяному трапу в круглом железном колодце, ведущем на дно лодки, снизу подставили большой мешок. Перчихин, не видя, ступил в него, мешок сразу вздёрнули кверху, и как только голова Перчихина показалась из люка, края мешка сомкнулись над ней. Мешок крепко завязали. Все молча отскочили в стороны, давась от смеха, ступая на цыпочках.

— А, ну, развязывайте, — послышалось из мешка, в котором барахтался Перчихин, — всё равно я же слышу, кто это тут начудил. Миронов, не ходи на пальчиках, ты не балери-

на, всё равно я твою походку знаю. А вон в том углу — это Валяев сопит. Не давишь понапрасну, я и так тебя слышу. И Чубенку слышу, у него кишка с кишкой разговаривает. А ну, живо развязывайте, а то я сейчас как выну бebut, да и распорю мешок к чертям на лапу.

Пришлось разоблачённым шутникам освобождать Перчихина.

— Ну, у тебя же и уши, — ворчал, выпутывая акустика из мешка, Миронов, — это же не уши, а форменные звукоулавливатели.

Замечательный слух Перчихина уже не раз сослужил добрую службу в боевых походах подлодки. Это он первым услышал тяжкий, зловеющий водяной грохот, исторгаемый могучими винтами германского крейсера. Он тогда помог Звездину точно определить место и курс немецкого корабля. Командир, веря своему акустику, рассчитал дистанцию, угол торпедной атаки, и Перчихин, отстранив наушники, чтобы не быть оглушённым, услышал два тяжких подводных взрыва. Это Звездин нанёс двойной торпедный удар и вывел из строя один из лучших кораблей германского флота.

Другой раз, идя на большой глубине, Перчихин расслышал над собой какой-то странный, лёгкий, стрекочущий звук, с трудом отличимый от шумов, которые были «своими», то есть принадлежали самой лодке. И Перчихин доложил командиру, что наверху подводная лодка. Мало того: по непривычному звуку дизелей ухо Перчихина определило, что эта лодка не наша. Командир решил всё-таки проверить и на какую-то долю секунды подплыл и показал перископ. Он ясно разглядел крупную немецкую подлодку. Но немцы тоже заметили перископ. Вражеская подлодка стала быстро погружаться и выпустила торпеду. Перчихин ясно слышал, как она прошуршала у него над самой головой, прошуршала и ушла. И в морской глубине разыгрался смертоубийственный поединок двух подводных лодок. Бой шёл вслепую. Противники не видели друг друга. Теперь всё зависело от Перчихина. Он не выпускал врага из уха. На лодке всем было приказано соблюдать полнейшую тишину. Перчихин припал к своим аппаратам, выслушивал море. Но немцы тоже притихли. Они, видимо, решили выждать. Часа три длилось это напряжённое молчаливое выжидание на глубине, потом у немцев, должно быть, сдали нервы, они пошли еле слышно, самым тихим ходом. Но от ушей Перчихина нельзя было скрыться. Он тотчас же

доложил о маневре противника командиру. Звездин вышел на атаку и прямым попаданием торпеды размозил немецкую подлодку.

Следует добавить, что своей славой всеслышающего человека Перчихин пользовался не только в морских глубинах, но и на берегу... Так он познакомился с хорошенькой Дусей, подававшей столовой подлава.

— Разрешите обратиться? — вкрадчиво произнёс он, настигая Дусю недалеко от причала. — Чересчур много про вас слышал.

— Зря вы всё говорите. Ну, что такого вы могли про меня слышать? — возразила застенчивая Дуся, польщённая, однако, тем, что на неё обратил внимание прославленный акустик.

— Всё слышал. Мне и телефона не требуется — беру на слух, невооружённым ухом. Имею такую способность. Другой и ухом ещё не поведёт, а я уже внял. Тем более учтите: акустик я Перчихин Сёма. Будем знакомы.

Дуся пользовалась у нас на базе подводных лодок большим успехом. И бедному Перчихину приходилось слышать о ней действительно очень часто и много от конкурирующих с ним товарищей.

— Это прямо вечная чертовня с ней получается, — жаловался мне Перчихин. — Собирался вчера с Дусей этой в ДКФ на кино сходить. Направляюсь, значит, к ней, а она уже идёт по пирсу под прикрытием троих этих гавриков с «Гремучего». Идут около неё в пику мне противолодочным зигзагом. Я, конечно, пилоточку поправил, следую в сторонке, хотя веду наблюдение. Не обращает внимания, хотя видимость полная. Тогда я делаю захождение, ясное дело, подстраиваюсь к ней с левого борта... Но эти с «Гремучего» следят за нами. Какая же это прогулка с таким конвоем?

Шансы Перчихина несколько повысились, когда на базе стали готовиться к большому вечеру краснофлотской самодеятельности. Дуся недурно пела. Перчихин сперва намеревался выступить с ней в дуэте, но голос у него был такой, что ему пришлось удовольствоваться лишь ролью аккомпаниатора: он хорошо играл на баяне.

На репетициях он успокаивал Дусю:

— Вы, Дусенька, прежде всего не волнуйтесь во время исполнения.

— Я и не волнуюсь нисколько...

— Будете ещё мне говорить! Что я не слышу, что ли? Даже издали, как в вас сердце так и стрижёт... Словно

катер-охотник идёт. Хотя возможно, — добавляя он лукаво и трогал себя за гвардейский только что отпущенный ус, — возможно, это по моей причине у вас в груди движок свой ход ускоряет.

— Больно много вы слышите! — сердилась Дуся.

— Акустика! — и Перчихин разводил руками, словно сам сокрушался, что он наделён таким сверхъестественным даром всё слышать. На лодке кто-то уже поспешил сложить песенку: «Идёт у них акустика от кустика до кустика...»

Незадолго до похода Перчихин пришёл ко мне очень расстроенный.

— Надеюсь получить «Добро», а она мне написала «Аз», — сообщал он мне мрачно. А на языке морских сигналов это означало, что Перчихин рассчитывал на согласие, а получил отказ. — Что-то у нас с ней всё «враздрай» получается, не вышло нам с ней идти на параллельных курсах. Печальное дело... Или у меня подход к ней неправильный, или она сама меня не с того боку разглядела. Ладно. Как вернёмся с похода, возьмусь сначала.

Уже надвигалась ранняя арктическая осень. Когда лодка, выйдя в назначенный квадрат моря, пошла на погружение, неуютная сырость и влажный холодок стали проникать под стёганки. Ярко горели лампочки во всех отсеках. Света было так много, что он казался плотным, распирающим тело лодки; изнутри мнилось, что именно свет и поддерживает тут жизнь, а потухни он — и вода расплющит лодку, ворвётся в неё. Подводники со спокойной деловитостью отбывали трудные часы похода, полные обыденной опасности. Они легко, привычно двигались в тесном пространстве между бесчисленными механизмами, рычагами, рукоятками, циферблатами, где непривычный человек путается, как таракан, попавший в стенные часы. Поход был серьёзным, над головой давно сомкнулись чужие холодные воды, и Перчихин не отрывался от своих аппаратов.

Дальше всё было, как обычно... Перчихин прослушал шум винтов, определил, что идёт крупный транспорт в окружении, по крайней мере, пяти сторожевых кораблей. Значит, груз шёл ценный, если его так охраняли. Стоило рискнуть. Звездин взглянул на часы. Дело шло к ночи. Пользуясь темнотой, можно было подплыть и глянуть через перископ, откуда удобнее атака. Теперь все на лодке были охвачены тем строгим, молчаливым вдохновением, которое даёт начи-

нающийся бой. Горизонтальщик Чубенко вёл лодку «на ровном киле», под самой поверхностью воды, осторожно перекаладывая рули. Звездин поднял перископ, чтоб оглядеться.

— Вести так! — приказал он. — Горизонта мне не замарайте!

Потом торпедисты услышали знакомое: «Носовые, товсь!..»

— Сейчас я ему вставлю фитиля, — негромко проговорил Звездин, поворачивая перископ. — Залп!

Всё это было знакомо подводникам, как и обычная сердитая реплика командира о фитилях, знаком был и тот лёгкий рывок, который ощутила лодка, освобождаясь от выпущенных торпед, и всё равно каждый раз минуты эти были исполнены волнения, почти не передаваемого. Долгим казалось безмолвное ожидание. И потом глухой продолжительный раскат словно качнул лодку.

— Съел! — сказал Звездин, прислушиваясь, и улыбнулся. — А сейчас дадут нам фитиля...

Он не договорил: над лодкой, стремительно уходившей в глубину, загрохотало, лодку швырнуло в сторону, мигнуло электричество. Это рвались наверху сброшенные сторожевиками глубинные бомбы. Перчихин давно уже снял наушники: грохот был нестерпимым и мог оглушить акустика. Бомбы сыпались сверху целыми сериями. Лодка содрогалась, подскакивала, метался пузырёк воздуха в розовой жидкости дифференциального манометра. Лампочки тухли и зажигались, так как рубильники выключались от тяжёлых толчков. Сто восемьдесят шесть взрывов насчитали подводники. Потом всё стихло. Лодка оставалась недвижимой. Надо было отстаиваться на глубине. Нельзя было включать двигатель: сверху бы тотчас услышали. Перчихин, снова припад к наушникам, прослушивал поверхность моря. Прошло два часа, прошло четыре часа — целая вечность в неподвижности и молчании. Лодка отстаивалась. Прошло ещё три часа. Сверху не доносился ни один звук. Уши Перчихина болели от дикого напряжения, больно ломило голову. Но он не снимал наушников. В лодке становилось душно: кончался воздух. Начинало звенеть в ушах, и с каждой минутой Перчихину становилось всё труднее и труднее выслушивать море. Звездин решил уходить. Они пошли самым малым ходом. Но этого было уже достаточно. Три чудовищных по силе, слитных взрыва обрушились на лодку. Потух свет, запахло какой-то едкой кислотой. Люди падали во мраке, цепляясь за механизмы, разбиваясь в кровь.

Очнувшись, лёжа в полной темноте, Перчихин позвал:

— Есть кто живой?

Полное молчание было ему ответом. Он прокричал ещё раз свой вопрос. Ни слова, ни звука в ответ. Странная тишина пугала его хуже тьмы. Но вдруг вспыхнул свет. К Перчихину подбегали товарищи. Его подняли.

— Ну как, Сёма? Ничего, цел? — спрашивали его участливо. — Ты что кричал-то?

— Чего вы все молчите? — заговорил вдруг Перчихин, всматриваясь в лица товарищей и нехорошо озираясь. — Почему тихо так, не слышать ничего? Стоим, что ли? Какого чорта, я спрашиваю, вы в молчанку играете?! — закричал пронзительно Перчихин и ударил кулаком в железную переборку.

Он прислушался, ударил ещё раз изо всей силы и вдруг, поняв всё, молча повалился ничком на палубу отсека. Из ушей его текла кровь.

Да, он не слышал слов товарищей, не слышал, как напряжённо работали двигатели, выводя лодку из опасного места, лишь чувствовал, как дрожит металл под ногами. Не услышал он, как зажужжали вентиляторы, и, только жадно вдохнув ароматный, свежий воздух, понял, что лодка поднялась на поверхность. Он не слышал команды: «Дизель на винт», — когда лодка помчалась в надводном положении к родным берегам. Он не слышал на другое утро торжественного условного залпа, который дал Звездин, входя в свою гавань и сообщая о победе. Он не слышал шумных приветствий на пирсе, когда его вынесли товарищи на руках в мир, полный ослепительной свежести и прохладного света, но мир беззвучный, молчаливый и показавшийся Перчихину ещё более страшным, чем могильная тишина там, внизу, в подлодке. Он не слышал, как пронзительно вскрикнула на набережной Дуся, завидя его на носилках. Он ничего не слышал. Только сердце своё слышал он, сердце, которое рвалось от тоски и неумолчной болью отдавалось в поражённых ушах.

В госпитале, где я навестил его в тот же день, врач сказал мне, что у раненого близким взрывом глубинной бомбы повреждены барабанные перепонки, но положение не безнадёжно, слух частично может восстановиться, так как более глубоких поражений нет. Многое зависит от того, сумеет ли Перчихин держать себя в руках, ибо у него, сказал врач, наблюдается небольшое сотрясение мозга от удара о борт и поражена нервная система.

Перчихин лежал, откинувшись на подушку, с забинтованной головой. Завидя меня, он жалко улыбнулся.

— Видал, какая чертовня, — сказал он виновато, — куда же это годится?.. И песен не послушаю... Ведь какие песни после войны запоют! На берег, значит, списан, к Матрёне-бабушке. Нет, врешь, отставить: дядя шутит! — закричал он. — Не пройдёт. Глаза у меня ещё при себе. Своё не до-слышал, так догляжу. Я фрица сквозь воду до дна слышал. Я его теперь сквозь стену под землёй разгляжу, паразита. Я глаз наточу до ужасной силы, до невозможности! Я его узрю. Я ещё с вооружения не сымаюсь... Запас плотности ещё имею! Что же вы молчите? — произнёс он жалобно. — Вы хоть головой мотайте, что ли, подмаргивайте или мимику руками подавайте, что согласны. Верно ведь говорю?

Пришли Миронов, сигнальщик Павленко. Перчихин отлично знал морской семафор, и сигнальщик, став перед койкой, бойко выбрасывал вверх и в стороны руки, что-то долго семафорил оглохшему акустику. Перчихин заулыбался:

— Стой, стой, ты пиши не так шибко. Я за тобой не поспею. Размахался, словно полькой-мазуркой дирижируешь. Так придти хочет, говоришь? Ты ей кланяйся, привет передай, скажи, пусть через пяток дней зайдёт, а то у меня уж больно видимость неважная, отшибить может начисто, честное слово.

Через недельку я пришёл к Перчихину вместе с Дусей. Врач с таинственным выражением лица повёл нас в палату к раненому. Повязки с головы Перчихина были сняты. Увидев Дусю, Перчихин покраснел и натянул одеяло до подбородка. Мы молча поздоровались. Дуся тоже залилась краской и, опустив глаза, села в сторонке.

— Вы хоть сядьте поближе к нему, — сказал я, — уж будьте с ним поласковой.

— Да, господи, — застеснялась Дуся, — уж я не знаю... Да разве я... Ведь он же сам знает. Ведь я сколько раз Сёмочке говорила...

— В первый раз слышу! — громко сказал Перчихин, быстро присаживаясь на койке.



СОСТОИТСЯ ПРИ ВСЯКОЙ ПОГОДЕ...

Обращали ли вы когда-нибудь внимание на скромную и гордую фразу, которая в прежнее время всегда печаталась на футбольной афише: «Матч состоится при всякой погоде», — гласит эта строка, и вы можете быть уверены, что, хотя бы прорвало все небесные шлюзы, и тяжкий ливень пал бы на землю, и разразилось бы землетрясение, или свирепый циклон закрутил бы воздух, воду, песок и листья в жгут, как скручивают прачки бельё, — всё равно болельщики займут свои места на трибуне и в положенный час судья возвестит начало игры. Мне доводилось видеть игру на юге Турции, когда песчаный ураган обрушился на футбольную площадку, опрокинул ворота, и судью мы с трудом нашли под трибуной, куда укатил его ветер. Я видел матч на Волге, близ Саратова, в полузапленном во время паводка городе, когда стадион, чудом уцелевший на островке, походил на Ноев ковчег во время потопа, с той только разницей, что голуби, несшие благую весть, не прилетали извне, а вышвыривались из-за пазухи болельщиков, когда брала верх местная команда. Был я также на памятном матче команд Валенсии и Барселоны, когда шла в Испании гражданская война и каждый из восемнадцати тысяч зрителей, прошедших на стадион, прочёл перед входом воззвание комендатуры и муниципалитета, объяснявшее гражданам Валенсии опасность всякого рода людских скоплений ввиду угрозы воздушного нападения...

Нет, ни одна из этих игр не может сравниться с матчем, на котором довелось мне недавно присутствовать за Полярным кругом, на одной из баз Действующего Северного флота.

Играли на маленьком стадиончике, который, может быть, справедливо моряки называют самым северным стадионом мира. Здесь скалы подковой обрамляют каме-

нистую террасу, образуя естественный амфитеатр, обращённый к морю. Дугообразная гряда скал концами своими упирается в море. В скалах высечены ступени и сиденья для зрителей, а на маленьком каменистом плато, обрывающемся в море, моряки разметили футбольную площадку.

Мы пришли на базу, проведя в один из северных портов караван британских, канадских и американских кораблей. И едва наш миноносец «Громокипящий» пришвартовался у пирса, как ребята у нас стали проситься на берег, прося дать им увольнительную до вечера, ибо все знали, что в этот день разыгрывается финальный матч флотской спартакиады. Две команды дошли без поражений до вершины розыгрыша. Две команды оспаривали «Кубок северных морей» — команда базы подводного плавания и команда дивизиона минных заградителей — подплава и минзаг.

Мы поспешили на стадион. Свежий нордовый ветер выл в фьорде, слепой конец которого вмещал маленький стадион — самый северный стадион мира. Тяжёлая и злая волна катилась в глубь фьорда, ударялась о берег, и часто брызги долетали до футбольных ворот. День был пасмурный, туман сползал с сопок, в воздухе сыпалась мелкая изморось, но, как всегда, на афишах значилось что «матч состоится при всякой погоде». И скалистый амфитеатр вокруг плато с трудом вмещал всех, кто хотел посмотреть решающую игру подплава и минзага. Я нашёл местечко в углублении на скале, недалеко от северных ворот. Сидевшие тут краснофлотцы о чём-то говорили между собой и выглядели хмурыми и озобоченными. Из их разговоров я узнал, что все они приверженцы подплава, но дела складываются так, что подводники непременно проиграют заградителям. Я услышал несколько раз повторявшееся в разных концах этого необыкновенного стадиона имя Андрея Самошина. Я уже и раньше слышал о Самошине, лучшим футбольном вратаре Северного флота. Встречал я его и на московских стадионах. Молодой игрок в два сезона завоевал признание на стадионах столицы, и о нём говорили уже как об одном из наиболее одарённых голкиперов Москвы. Потом он уехал учиться в морской техникум и с начала войны служил механиком на подводной лодке, которой командует Герой Советского Союза капитан 2-го ранга Звездин.

На флоте он стал капитаном-тренером и вратарём сборной команды подплава. Защитниками у его ворот стояли Куличенко и Воронков, плечистые и толстоногие парни, оба комсомольцы, оба с той же лодки, на которой плавал механиком Самошин. И так сыгралась эта дружная тройка, что уже шутили про них на флоте: «С такой защитой и на море сухим останешься», — что намекало на «сухие» результаты, с которыми команда подплава обыгрывала противника, не пропустив ни одного мяча в свои ворота.

Куличенко и Воронков обладали стенобитными ударами, хватка и точный бросок Самошина известны были каждому, а на море в походе эта популярная и дружная тройка действовала так же слаженно, как у ворот на поле, и пользовалась любовным уважением всего экипажа подводной лодки. На рубке подводного крейсера уже красовалась цифра 14... Четырнадцать вражеских кораблей пустила на дно лодка, которой командовал Герой Советского Союза Звездин. Удачливый и дерзкий командир хаживал не раз в самые опасные районы, проникал в норвежские фьорды, где отстаивались корабли противника, и, как выражался Самошин, «шутовал под самую планку», т. е. метким торпедным ударом поражал фашистские транспорты и военные корабли. И, вернувшись на свою базу, лодка Звезда неизменно салютовала орудийными выстрелами, сообщая товарищам на берегу, что поход прошёл удачно и задание выполнено.

— Сработали всухую, два — ноль в нашу пользу, — говорил довольный Самошин, вылезая из люка лодки, только что давшей два выстрела из бортового орудия.

Кто бывал на аэродромах бомбардировочной авиации дальнего действия или на базах флота, тот, верно, подмечал своеобразное противоречие в быте людей, довольно вообще комфортабельном, и суровой, полной опасности и лишений обстановке, в которую сразу попадает человек, отправляющийся на выполнение боевых заданий. На берегу он может пройтись неспеша с девушкой по пирусу, где вечерами слышатся баян, женский смех и молодые голоса, может посидеть в Доме флота, посмотреть кинокартину. Но вот засвистели боцманские дудки, сняты трапы, отданы швартовые концы, вспенённая волна горой встала за кормой, и ты прямо с мирного берега попадаешь в кипучую и жестокую военную водовёрть... А потом, если поход прошёл удачно и ты благополучно вернулся на

базу, снова несколько дней береговой тишины, если только нет тревог, и снова разительный переход к делам и опасности войны. Всё это создаёт особую манеру, непередаваемый «почерк» береговой жизни.

Необыкновенным был и матч, на котором мне удалось присутствовать. Гулкие удары мяча глохли в тяжёлых всплесках волн, бивших с наката в сваи, шлёпавших о прибрежные скалы. Белые флажки судей на линии трепыхались от ветра в руках, как пойманные чайки, и казалось, что живые чайки, носившиеся с криком над полем, только что вырвались из рук лейсменов. За северными воротами стадиона, там, где каменная терраса — площадка стадиона — обрывалась над морем, у берега ходила дежурная шляпка. И краснофлотцы то и дело должны были браться за вёсла, чтобы догонять мяч, который от неосторожного удара падал в море и плыл, покачиваясь, как буёк. Встав на качающейся шляпке, краснофлотец вбрасывал мокрый мяч обратно в игру, крича: «Мяч за бортом!», «Стоп игра!», «Взяли!»...

Команда подплава играла в голубых футболках, минзаги — в красных. Голубые в этот день всяческими ухищрениями пытались отменить встречу или хотя бы максимально оттянуть время. Дело в том, что знаменитая защитная тройка находилась ещё в море. Лодка Звезда на некоторое время тому назад ушла в большой поход и до сих пор не возвращалась. Матч был назначен на прошлое воскресенье, подплаву удалось перенести игру на сегодня, но лодка и сегодня не вернулась, и, значит, ворота подплава оставались без испытанной и надёжной стражи: Самошин, Куличенко и Воронков не могли участвовать в игре. Это повергало в отчаяние и команду и всех, кто болел за подплав. Правда, у подводников нашлись хорошие запасные игроки, и юркий длиннорукий малый, уже разминавшийся в воротах, брал мяч за мячом, пробитый игроками, которые вышли «постучать» перед началом.

Подводники пробовали было отменить матч, ссылаясь на туман и дождь, что делало игру на скользком каменном плато опасной, но «матч состоится при любой погоде» — таков закон людей спорта. И матч состоялся.

Как ни старалась запасная тройка спасти свои ворота, всё же через пять минут рукастому вратарю подплава пришлось выгребать из сетки ворвавшийся туда мяч. И,

как полагается, оркестр на палубе стоявшего у стенки миноносца заиграл насмешливо: «Понапрасну, Ваня, ходишь, понапрасну ножки бьёшь...» Прошло ещё десять минут, и опять оркестр помянул Ваню: второй мяч посетил ворота голубых. Болельщики на скалах хватались за голову, в отчаянии сдирали с себя бескозырки и вслух тосковали по Самошину.

А Самошина всё не было. Не было Куличенко и Воронкова. Лодка Звезда не возвращалась из моря, и уже несколько дней не было связи с ней. Наши радисты перехватили сообщение с немецких кораблей о том, что лодка была обнаружена и враг преследовал её...

Игра тем временем продолжалась. Снова нападали красные. Но тут матч пришлось прервать. В порту завывала сирена воздушной тревоги. Вторя ей, залилась сирена судьи на поле, и неумолимые правила противовоздушной обороны заставили игроков и зрителей немедля сорваться с мест и поспешить на свои корабли, поднявшие клетчатые флаги, и в убежища, выдолбленные в скалах. Там, в каменных пещерах, болельщики обступили неудачливых подводников, корили их, умоляли поддержать честь подлава, хватали и трясли за мокрые плечи, стучали себя кулаками в грудь, обтянутую отсыревшей тельняшкой, клялись, божились, ругались. Наверху тем временем стучали зенитки, отбивавшие налёт. Потом капитан-лейтенант Сумский, рефери матча, подбегая поочередно к входу всех укрытий, сиреной вызвал игроков и зрителей обратно на стадион. И снова началась игра. Уже висел над воротами подлава третий неотвратимый мяч, как вдруг тяжёлый, тугой удар прокатился над морем и пошёл бродить из ущелья в ущелье и поплыл над сопками, будя чуткое северное эхо. За первым ударом последовал второй, ещё более плотный и протяжный. Все на скалах поднялись разом, глядя в сторону моря, и запасный вратарь подплава, успевший поймать шедший в ворота мяч, видя, что на него никто не нападает, так и замер на своей мелом очерченной площадке.

В ворота гавани медленно вползало длинное зеленоватое тело подводной лодки. На узкой палубе тесно, плечом к плечу, рядком выстроились люди, похожие издали на шахматные фигурки. Мигнуло огнём у дула орудия, разбухло серое облачко, потом оно улетучилось — третий удар потряс округу, валко прокатился по фиорду и замер за сопками.

— Вернулись! Пришли! — кричали вокруг меня бегущие к берегу краснофлотцы, взбрасывая на ходу вверх бескозырки и от радости обнимая друг друга. — Три раза пальну! Считай, три посуды подзаныр пустили. Ура-а-а! Самошин пришёл!..

И вдруг обогнавший всех высокий моряк остановился, медленно поднял руку и указал на что-то...

— Флаг-то, гляди, флаг, — тихо заговорили вокруг меня.

— Может, на захождение спускали и фалы заело? Потому не поднят «до места», — сказал неуверенно молодой старшина.

Ему никто не ответил.

Флаг на гафеле лодки был приспущен... Все разом замолчали, с тревогой вглядывались в него. А подводный корабль медленно подходил к пирсу. Звездин стоял на рубке. У него было осунувшееся, небритое лицо с отяжелевшими чертами. Он приложил руку к козырьку и отдал команду хриплым, простуженным голосом.

Вышедший из ворот базы начальник подплава приказал всем немедленно идти на места...

* *
*

Прошло полчаса. И вдруг на площадке снова пропела сирена. Перед северными воротами — это был уже второй тайм, и команды переменились местами, — перед северными воротами, над которыми развевалось теперь знамя подводников, появились два плечистых, толстоногих парня в голубых майках, один — чернявый, приземистый, другой — сутулый, с могучей, выпуклой спиной пловца. Это были Куличенко и Воронков, знаменитые непробиваемые беки подплава. Но ворота подплава оставались пустыми. «Самошина!.. Где Самошин?!» — кричали со скал. Тогда Куличенко, тяжело ступая, вышел на центр поля и поднял руку. Стало тихо.

— Товарищи моряки! — сказал Куличенко и набрал воздуху во всю свою вместительную грудь, широко расправившую голубую шнуровку футболки. — Товарищи моряки! Самошина нет. Не будет больше стоять у нас в голу Андрюша Самошина. Ввиду того, что двенадцатого числа, на той неделе, погиб смертью храбрых при выполнении боевого задания... И велел без него... Вот перчатки... наказал отдать Васенцеву.

И тут все увидели в руках Куличенко небольшой свёрток. Он бережно развернул его, пошёл навстречу молоденькому рукастому парню, который должен был заменить погибшего вратаря, и сам надел ему на руки знаменитые заветные перчатки Самошина:

— Бери, Васенцев, и помни, от кого...

В тот момент я ещё не знал, как погиб Самошин. Позже, вечером, Звездин рассказал мне, что они были достигнуты сторожевиками противника. Лодку забросали глубинными бомбами. Звездин ушёл, но у него оказался заклинённым горизонтальный руль. Пришлось всплыть и чиниться. Самошин сам вызвался исправить повреждение. По горло в ледяной воде работал он. Однако вскоре лодку выследили немецкие самолёты. Подводники зенитным огнём отгоняли налётчиков, но разрывом бомбы Самошин был тяжело ранен. Он продолжал работать на руле, отказывался подняться на палубу, пока не потерял сознания. Самошина еле успели втащить на лодку, волна чуть было не унесла раненого в море. Через три часа он скончался. Перед смертью Самошин завещал свои прославленные перчатки молодому вратарю Васенцеву, который должен был заменить его в воротах подплава.

Обо всём этом я узнал лишь к вечеру. А сейчас я видел вокруг себя лица моряков, затённые молчаливым горем. Все на стадионе встали, понуриив обнажённые головы. Поднялись и заморские гости, союзные моряки. Тихо стало на берегу. И тяжёлые, медленные удары волн о скалу гремели в тишине, как залпы погребального салюта. Молча стояли игроки в красных футболках, с хмурым сочувствием поглядывали на голубых. Они не знали, как теперь быть. Беда, стрясаемая над противниками, обескуражила их. Тяжело и неловко было играть теперь. И тут слово взял сугулый Воронков.

— Он наказывал: «Кубок без меня забирайте», — проговорил Воронков, и на круглой спине его под голубой футболкой заходили бугры. — Как сказал Андруша, так и будет... В честь его памяти... Товарищ капитан лейтенант, — обратился он к Сумскому, — разрешите? Надо доиграть.

И судья, оглядев лица игроков, вспомнил, должно быть, суровые законы этой мужественной игры, действительные при любых условиях. И он приложил свисток к губам. Игра возобновилась. Но то ли минзаги чувствовали себя

стеснённо и били неточно, то ли трудно было пройти между скалоподобными Куличенко и Воронковым, только мяч, несмотря на все усилия красных, не входил в ворота подплава. Уже, казалось, вот-вот ворвётся он туда, и вдруг какая-то невидимая сила, может быть, шквалистый ветер, порой налетавший с моря, срезала линию полёта, и мяч, круто завернув, уходил в сторону. Казалось, что он не может пробиться через какую-то невидимую прозрачную препопу, вставшую перед воротами, и ещё казалось, что заветные перчатки, которые надел молодой красnofлотец Васенцев, заменивший Самошина, обладают магической способностью притягивать на себя мяч, он цепенел в полёте и покорно падал в протянутые руки вратаря. Никогда так не играли Куличенко и Воронков. Удары их гудели, как орудийные залпы. Они бросались на нападавших, выбивали у них в самую последнюю минуту мяч из-под ног, плюхались в лужи, не просохшие после бури, и безжалостно швыряли себя на каменистую почву. Вымокшие футболки и трусы их были разорваны, но оба с беззаветной яростью закрывали собой ворота, в которых уже никогда не мог теперь встать знаменитый капитан. А им, верно, всё казалось, что он стоит там, у белой сетки; они чувствовали его за своей спиной. Нападение подплава, пользуясь тем, что ворота теперь были непробиваемы, подтянулось к стороне противника, и один за другим три мяча, пущенных по ветру, вторглись в сетку ворот минзага.

Так команда подплава выиграла «Кубок флота», не посрамив памяти своего славного вратаря. Так прошёл этот матч на крайнем северном стадионе мира. И я считаю его самым удивительным и прекрасным из всех матчей, когда-либо виденных мною. Потому что на этот раз я увидел, как правила игры становятся законами мужества, и ещё раз убедился, что неукротимая молодость, верность другу и добрые заветы торжествуют у нас всегда, везде, под любой широтой, при всякой погоде, какие бы тучи ни закрывали небо, какое горе ни томило бы сердце...



ЗЕЛЕНАЯ ВЕТОЧКА

С. Л. С.

На Западном фронте мне пришлось некоторое время жить в землянке техника-интенданта Тарасникова. Он работал в оперативной части штаба гвардейской бригады. Тут же, в землянке, помещалась его канцелярия. Трёхлинейная лампёшка освещала низкий сруб. Пахло свежим тёмсом, земляной сыростью и сургучом. Сам Тарасников, невысокий, болезненного вида молодой человек со смешными рыжими усиками и жёлтым, обкуренным ртом, встретил меня вежливо, но не слишком приветливо.

— Устроитесь вот тут, — сказал он мне, указывая на топчан и тотчас снова склоняясь над своими бумагами, — сейчас вам подстелят палатку. Надеюсь, моя контора вас не стеснит? Ну и вы, рассчитываю, тоже особенно мешать нам не будете. Условимся так. Присаживайтесь пока.

Так я стал жить в подземной канцелярии Тарасникова. Это был очень беспокойный, необычайно дотошный и придирчивый работяга. Целые дни он надписывал и заклеивал пакеты, припечатывал их сургучом, согретым над лампой, рассылаал какие-то донесения, принимал бумаги, перечерчивал карты, стучал одним пальцем на заржавленной машинке, тщательно выбивая каждую букву. По вечерам его мучили приступы лихорадки, он глотал акрихин, но уйти в госпиталь категорически отказывался:

— Что вы, что вы! Куда же я уйду? Да тут всё дело без меня станет! Всё на мне и держится. На день мне уйти — так потом год не распутаешься тут...

Поздно ночью, вернувшись с переднего края обороны, засыпая на своём топчане, я всё ещё видел за столом усталое и бледное лицо Тарасникова, освещённое огнём лампы, деликатно, ради меня, приспущенным, и окутанное табачным туманом. От глиняной печурки, сложенной в углу, шёл горячий чад. Усталые глаза Тарасникова слезились, но он продолжал надписывать и заклеивать пакеты. Потом он вы-

звал связного, который дожидался за плащ-палаткой, повешенной у входа в нашу землянку, и я слышал следующий разговор.

— Кто из пятого батальона? — спрашивал Тарасников.

— Я из пятого батальона, — отвечал связной.

— Примите пакет. Вот. Возьмите его в руки. Так. Видите, написано здесь — «Срочно». Следовательно, доставить немедленно. Вручить лично командиру. Понятно? Не будет командира, — передадите комиссару. Комиссара не будет, — разыщите. Больше никому не передавать. Ясно? Повторите.

— Доставить пакет срочно, — как на уроке, одностонно повторял связной. — Лично командиру; если не будет, — комиссару; если не будет, — отыскать.

— Правильно. В чём понесёте пакет?

— Да уж обыкновенно... Вот тут в кармане.

— Покажите ваш карман, — и Тарасников подходил к высокому связному, становился на цыпочки, просовывал руку под плащ-палатку, за пазуху шинели, и проверял, нет ли прорех в кармане.

— Так, в порядке. Теперь учтите. Пакет секретный. Следовательно, если попадёте противнику, что будете делать?

— Да что вы, товарищ техник-интендант, зачем же я буду попадаться!

— Попадаться незачем, совершенно верно, но я вас спрашиваю: что будете делать, если попадёте?

— Да я сроду никогда не попадусь...

— А я вас спрашиваю, если? Так вот, слушайте. Если что. Опасность какая, так содержимое съешьте, не читая. Конверт разорвать и бросить. Ясно? Повторите.

— В случае опасности, конверт разорвать и бросить, а что посередке, — съесть.

— Правильно. Через сколько времени вручите пакет?

— Да тут минут сорок и идти всего.

— Точнее, прошу.

— Да так, товарищ техник-интендант, я считаю, не больше пятидесяти минут пройду.

— Точнее.

— Да через час-то уж наверняка доставлю.

— Так. Заметьте время, — Тарасников щёлкал огромными кондукторскими часами, — сейчас двадцать три пятьдесят. Значит, обязаны вручить не позднее ноль пятьдесят минут. Ясно? Можете идти.

И этот диалог повторялся с каждым посыльным, с каж-

дым связным. Когда все пакеты были отосланы, Тарасников укладывался. Но и во сне он продолжал учить связных, обижался на кого-то, и часто ночью меня будил его громкий, суховатый, отрывистый голос.

— Как стоите? Вы куда пришли? Это вам не парикмахерская, а канцелярия штаба, — чётко говорил он во сне.

— Почему вошли, не доложившись? Выйдите и войдите ещё раз. Пора научиться порядку. Так. Погодите. Видите, человек есть? Можете обождать, у вас не срочный пакет. Дайте человеку поесть... Распишитесь... Время отправления... Можете идти. Вы свободны.

Я тормозил его, пытаюсь разбудить. Он вскакивал, смотрел на меня мало осмысленным взглядом и, снова повалившись на койку, прикрывшись шинелью, мгновенно погружался в свои штабные сны. И опять принимался быстро говорить.

Всё это было довольно скучно и неприятно. И я уже подумывал, как бы мне перебраться в другую землянку. Но однажды вечером, когда я вернулся в нашу халупку, основательно промокнув на дожде, и сел на корточки перед печкой, чтобы распотить её, Тарасников встал из-за стола и подошёл ко мне.

— Тут, значит, получается так, — сказал он несколько виновато. — Я, видите ли, решил временно не топить печки. Давайте деньков пять воздержимся. А то, знаете, печка угар даёт, и это, видимо, отражается на её росте... Плохо на неё воздействует.

Я, ничего не понимая, смотрел на Тарасникова:

— На чём росте? На росте печки?

— При чём же тут печка? — обиделся Тарасников. — Я, по моему, выражаюсь достаточно ясно. Этот самый чад, он, видно, плохо действует... Она совсем расти перестала.

— Да кто расти перестал?

— А вы что же, до сих пор не обратили внимания? — уставившись на меня и почти с негодованием закричал Тарасников. — А это что? Не видите? — и он с внезапной нежностью поглядел на низкий бревенчатый потолок нашей землянки.

Я привстал, поднял лампу и увидел, что толстый кругляш вяза в потолке пустил зелёный росток. Бледенький и нежный, с зябкими листочками, он протянулся под потолок. В двух местах его поддерживали белые тесёмочки, приколотые кнопками к потолочине.

— Понимаете? — заговорил Тарасников. — Всё время рос-

ла. Такая славная веточка вымахнула. А вот тут стали мы с вами топить часто, а ей, видно, не нравится. Я вот тут зарубочки делал на бревне, и даты у меня проставлены. Вот видите, как сперва быстро росла. Иной день по два сантиметра вытягивала. Даю вам честное, благородное слово! А как стали мы с вами чадить тут, вот уже три дня не наблюдаю роста. Так ей и захиреть недолго. Давайте уж воздержимся. И курить бы надо поменьше. Стебелёчек-то нежненький, на него всё влияет. А меня, знаете, интересует: доберётся он до выхода? А? Ведь так, чертёнок, и тянется поближе к воздуху, где солнце, чует из-под земли.

И мы легли спать в нетопленной, сырой землянке. На другой день я, чтобы снискать расположение Тарасникова, сам уж заговорил с ним по поводу его веточки.

— Ну, как, — спросил я, сбрасывая с себя мокрую плащ-палатку, — растёт?

Тарасников выскочил из-за стола, посмотрел мне внимательно в глаза, желая проверить, не смеюсь ли я над ним, но, увидев, что я говорю серьёзно, с тихим восторгом поднял лампу, отвёл её чуточку в сторону, чтобы не закоптить свою веточку, и почти шёпотом сообщил мне:

— Представьте себе, почти на полтора сантиметра вытянулась. Я же говорил, топить не надо. Просто удивительное это явление природы!

Ночью немцы обрушили на наше расположение массивный артиллерийский огонь. Я проснулся от грохота близких разрывов, выплёвывая землю, которая от сотрясения обильно сыпалась на нас сквозь бревенчатый потолок. Тарасников тоже проснулся и зажёл лампочку. Всё ухало, дрожало и тряслось вокруг нас. Тарасников поставил лампочку на середину стола, откинулся на койке, заложив руки за голову.

— Я так думаю, что большой опасности нет. Не повредит её? Конечно, сотрясение, но тут над нами три наката. Разве уж только прямое попадание. А я её, видите, подвязал. Словно предчувствовал...

Я с интересом поглядел на него.

Он лежал, запрокинув голову на подложенные за затылок руки, и с нежной заботой смотрел на зелёный слабенький росточек, вившийся под потолком. Он просто забыл, видимо, о том, что снаряд может обрушиться на нас самих, разорваться в землянке, похоронить нас заживо под землёй. Нет, он думал только о бледной зелёной веточке,

протянувшейся под потолком нашей халупы. Только за неё беспокоился он.

И часто теперь, когда я встречаю на фронте и в тылу взыскательных, очень занятых, суховатых на первый взгляд, малоприветливых как будто людей, я вспоминаю техника-интенданта Тарасникова и его зелёную веточку. Пусть грохочет огонь над головой, пусть промозглая сырость земли проникает в самые кости, всё равно, — лишь бы уцелел, лишь бы дотянулся до солнца, до желанного выхода робкий, застенчивый зелёный росток.

И кажется мне, что есть у каждого из нас своя заветная зелёная веточка. Ради неё готовы мы перенести все мытарства и невзгоды военной поры, потому что твёрдо знаем: там, за выходом, завешенным сегодня отсыревшей плащ-палаткой, солнце непременно встретит, согреет и даст новые силы дотянувшейся, нами выращенной и сбережённой ветке нашей.



ЗОЛУШКА С МОРСКОЙ, ИЛИ ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ

Возможно, что вы действительно ничего не знаете о Марусе Заваловой. Но зато она известна решительно всем в нашем северном портовом городке. Да и не только у нас — в Нью-Йорке и в Глазго, в Филадельфии, Балтиморе и Ливерпуле не одно, морским ветром просолённое, сердце томится по нашей Марусе... У нас её именем неофициально зовётся перекрёсток на Морской улице у самой гавани. Так и говорят: «На марусином углу...» Наш поморский городок круглый год посещают корабли со всего мира. Кого только не встретишь на дощатых тротуарах нашего города! Тут и австралийцы, новозеландцы, ковбои из Оклагомы, балтиморские янки, кокни — уроженцы Лондона. И дома у Маруси вы увидите, если вас, конечно, позовут в гости, письма на всех заморских языках. Письма эти доставляют заезжие моряки, на конвертах написан такой адрес: «Порт Н., Морская стрит. Мисс Мэри (Маруся) Милтон...»

Не знал ничего о Марусе лишь Вася Лобачёв, моторист с грузового теплохода «Роза Люксембург» и приёмщик автомашин, который только что вернулся из заграничного плаванья и по совместительству стал работать шофёром в порту.

Познакомился он с ней в Интерклубе моряков. Ему сразу приглянулась она вся, высокая, плавная в танце. И голос её понравился ему: грудной и такой звучный, что каждое произнесённое ею слово пело где-то под потолком, словно задевало там какие-то струны. И на глаза её обратил внимание Вася Лобачёв: большие серые, ясного света глаза, в которые хотелось смотреть долго, не отрываясь. А ещё Вася разглядел очень милую вдавлинку на слегка приподнятой верхней губе и уютные ямочки на свежих, круто выведенных щеках и на нежном подбородке. Словом, товарищи, тут было что разглядеть...

Но Вася Лобачёв долго разглядывать не стал. Он улучил момент, когда в радиоле меняли пластинки и негр-кочегар с американского транспорта посадил Марусю на место, — тут Вася и предложил следующий вальс танцевать с ним. Девушка поблагодарила, но сказала, что придётся подождать, так как она обещала уже два танца другим.

— Может, талончики на очередь к танцу выдадите? — спросил несколько ущемлённый Вася.

— Мне и так верят, — просто сказала девушка. — А если у вас такая плохая память, то, конечно, можете записать себе номер где-нибудь. Третий будете...

Пришлось переждать два танца. Сперва с Марусей танцевал круглобродый ирландец с английского миноносца, затем — совсем молоденький лётчик из американской миссии. «Союзничков тут, я вижу, у меня хватает!» — подумал Вася. Он начал утешать себя, что девушка уж не так, чтоб очень собой интересная... Он даже обрадовался, когда обнаружил, что она немножко курноса. Но, увы, скоро ему и нос понравился. Подошёл ещё один британец, чтоб пригласить Марусю, но она, поискав глазами в зале, нашла Васю Лобачёва, улыбнулась и сама подошла к нему.

— Эх, танцевать с вами — одна роскошь, — наговаривал Вася в розовое ухо девушки. — Руля слушаетесь. Маневрировать с вами легко. А то тут толкучка до невозможности.

Действительно, в зале было очень тесно и жарко. Окна были зашторены. Народу с кораблей набилось полно. Девушка раскраснелась, стала ещё лучше...

— Вид у вас, Маруся, очень изящный, — говорил Вася, любуясь своей просто, но красиво одетой партнёршей. — Честное слово, ну, просто-таки глядеть хорошо.

— Ну, и глядите на здоровье.

— Благодарю за разрешение. Я что́ выразить хотел?.. Очень чересчур много сейчас женского пола по казённой арматурке ходит. А иная обмундируется, и сидит на ней эта самая форма, как на корове галифе, извиняюсь, честное слово...

— Да, да-а, — сказала девушка и задумалась. И задумавшись, поглядела почему-то на свои ноги, обутые в хорошенькие босоножки.

— Война войной, — продолжал Василий, — а наш брат-моряк сердцем ищет уюта на земле, обращает внимание на

женский облик. А тут, значит, сапожищи походного образца с набойкой. Как шаганёт такая навстречу, так словно тебе на самое глубокое чувство наступили... И растоптана любовь в один миг.

Потом Вася рассказал, как их теплоход «Роза Люксембург» был торпедирован недалеко от норвежских берегов, но корабль не бросили, на пробоины наложили пластырь и «дотопали до родной земли». Девушка слушала очень внимательно, широко раскрыв свои большие серые глаза, а потом взглянула на часы и забеспокоилась:

— У-у! Мне пора. Нет, нет — не надо. Вы оставайтесь.

— Да мне мало радости без вас оставаться. Разрешите проводить.

— А я говорю — нет... Если хотите, приходите завтра сюда.

И она сбежала по лестнице. Вася видел, как у выхода американские моряки из берегового патруля — в белых гетрах и в белых шапочках — отдали ей честь: «Гуд бай, Марусья».

Так было и на другой день. До половины одиннадцатого Маруся танцевала с Васей Лобачёвым, а потом опять решительно заявила, что ей пора уходить, и запретила провожать её.

— Вы хоть скажите, где работаете, — попросил Вася.

— Я... я... учусь в институте иностранных языков. А сюда на практику хожу.

— А, спик инглиш, — обрадовался Вася, — это мы тоже в некоторой мере соображаем. В заграничье ходил.

Так они встречались каждый вечер в Интерклубе, пока «Роза Люксембург» целую неделю чинилась после тяжёлого похода. И каждый раз ровно в половине одиннадцатого девушка Маруся покидала клуб. Она исчезала, совсем как Золушка в сказке, таинственная Золушка-Сандрильона, исчезавшая в полночь с придворного бала. В конце концов, эта загадочность начала изводить Васю. Однажды он услышал, как Маруся говорила кому-то по телефону: «Ты сегодня в ночной смене? Так приходи, если будет время, на угол Морской у гавани... Ладно? Около двенадцати. Так жду, смотри!»

— Так... Со свиданьем, значит, — мрачно протянул Вася, дождавшись, когда Маруся выйдет из будки автомата. — Смотрите, не опоздайте. Скоро одиннадцать.

— Вы что думаете? — огорчилась Маруся и густо покраснела. — Это я с подружкой сговаривалась.

— И что же? Подходящий парень?

— Кто?
— Вот этот самый, который подруга?
— Смешной вы.
— Куда уж смешней! Дурак дураком!
— Ничего вы не понимаете.
— Где уж нам! По-иностранному не учились.
— Василий, милый. Потом, когда вы больше меня узнаете, вы всё поймёте. Всё! А сейчас не надо. Вас это огорчит. Я знаю ваши взгляды.

— Эх! — сказал Вася. — А я думал у нас с вами дело пойдёт. Я думал тут, откровенно говоря, около вас на якорь стать. Я теперь тут в порту шофёром работать начал. С вами, рассчитывал, будем видеться. Одно к одному получалось.

Работа в порту шла всю ночь. Срочно разгружался прибывший караван транспортов. Вася Лобачёв работал на пятитонке. И в каждую езду свою он нарочно проезжал через перекрёсток на Морской улице. Там он останавливал свою машину, просил грузовик обождать минуточку и внимательно проглядывал перекрёсток. Но нигде не видно было ни Маруси, ни счастливого васино го соперника.

Над городом мягко струилось северное сияние, пуская голубоватые стрелы, переливаясь, то проступая в звёздном небе, то пропадая. Над перекрёстком зажигались огни светофора — красный, жёлтый, зелёный, красный, жёлтый, зелёный. В тёмном порту гремели лебёдки, жужжали электромоторы. Грузовики, взывая, тяжело брали с места и громыхали через перекрёсток.

Но Маруси на перекрёстке не оказалось.

От ревности и обиды Василий, махнув рукой на все правила движения, погнался машину с недозволенной скоростью. И когда на перекрёстке светофор долго не открывал ему своего зелёного глаза, он со зла сделал запрещённый левый поворот. В ту же секунду раздаётся пронзительный милицейский свисток. Василий затормозил тяжёлую машину так сердито, что сидевшие наверху грузчики едва не посыпались все наперёд с грузовика. С фонариком в руке к пятитонке подходить постовой.

— Ну чего такое, нашёл время придирки строить? — начал Василий с профессиональной готовностью к пререканиям.

— Товарищ водитель, почему выезжаете на красный свет? И здесь нет левого поворота. Ваши права?

Но Василий сидел не шелохнувшись. Он сразу узнал

этот грудной, звонкий девичий голос. Чутьку придя в себя, он открыл дверцу кабины и высунулся. Сомнений не было. В мягком свете северного сияния перед ним стояла Маруся Завалова в полной милицейской форме, с револьвером в кобуре, с сумкой противогаса через плечо, в сапогах походного типа с двойной набойкой... Василий захлопнул дверцу кабины, нажал стартер и сразу перевёл тяжёлую машину на третью скорость, так что сидевшие наверху грузчики чуть не полетели теперь назад. На перекрёстке отчаянно заливался милицейский свисток.

— Ну и ну, — бормотал про себя Василий, резко ворочая баранку руля, — где же это видано: чтобы шофёр — и в милицию влюбился... Вот это номер! Хорошо хоть, что ребята-грузчики ничего не заметили, а я вовремя газу дал. Вот это попал!..

Он живо представил себе, как гуляет по Морской улице под ручку со своей Марусей-милиционером в полной форме, а сзади идут ребята с «Розы» и кричат вдогонку: «Попал, Вася, попал!.. Повели. Прощай, друг, пиши письма! Жди передачу!..»

Внезапно в порту завывала тревожная сирена, послышался рокот моторов. Светящиеся столбы прожекторов качнулись в небе. В гавани затрубили парходные гудки. «Как-кому, как-кому, как-кому!» — чётко проговорила зенитка. В отдалении послышалось шипение, переходящее в режущий свист, и тяжёлый воздух с громом качнул машину.

Два часа длился налёт. Северное сияние растворилось в зареве. Тысячами искр лежало зарево на мостовой, покрытой мелкими осколками стёкол, растолчённых в хрустящую пыль. Потом объявили отбой. Начало медленно светать. На улицах появились люди. И Василий, садясь в машину, которую он вывел из переулка, где ему пришлось отстаиваться во время бомбёжки, услышал, как два шедших мимо моряка говорили между собой:

— На Морской то, говорят, тяжёлую кинул. Знаешь, на углу, где Маруся стояла...

— Стой, браток, какая Маруся? — не своим голосом закричал Вася.

— Какая Маруся?.. Ты что, друг, вместе с фугаской с неба упал, что ли? Какая Маруся?.. Мало она, что ли, вашего брата — шофёров — штрафовала. Какая Маруся?.. Обыкновенно какая. Её на всех заграничных кораблях и то знали, кто сюда к нам в порт приходил. «Мэри-мильтон», — так и

прозвали. Да ты что, приезжий, что ли, не знаешь? На том перекрёстке у нас самое большое движение в городе. Шофёры, черти, нарочно норовили, куда бы ни ехали, а через марусин перекрёсток свернуть... Какая Маруся! — передразнил прохожий.

Но Вася уже ничего не слышал. Через десять минут он был там. Его не остановили поваленные телеграфные столбы, опрокинутые тумбы, груды кирпича, вывернутые балки, валявшиеся на улицах после налёта. Резко притормозив, Вася выскочил из машины и огляделся. Перекрёсток был неузнаваем. В мутном, полном дыма и копоти, тревожном свете он разглядел знакомую фигуру в милицейской шинели, и сейчас стоявшую там, где он оставил её ночью. Значит, жива! Цела! Он зашёл сзади, тихонько приблизился и робко коснулся рукой отсыревшего сукна её шинели. «Маруся, — неуверенно начал он, — вы меня, Маруся...» Фигура в шинели резко повернулась, и на Василия уставилось красное, набрякшее, изумлённое лицо с мохнатыми и обвисшими усами, похожими на лашпу...

— Что желаете, гражданин?

— Извиняюсь, — не сказал, а, скорее, выдохнул Василий. — А Маруся как? Живая?.. Она тут стояла...

— Сроду она тут не стояла... — сказал постовой и обиделся. — Заладили. Пятый уже спрашивает! Вас бомби не бомби, а из башки Марусю никак не выбьешь. Вон на том углу Маруси вашей пост.

Когда Василий подъезжал к марусиному посту, через улицу переходили английские и американские моряки. Тревога задержала их до утра в Интерклубе. Многие из них были навеселе. Но, увидев Марусю, стоящую на перекрёстке Морской, моряки, одёрнув плотно охватывавшие их рослые фигуры тёмносиние рубашки и свитеры, чинно обходили девушку и каждый вежливо приветствовал её: «О Маруся...»

— Маруся, — сказал Василий, — вы меня извините, конечно, что я там, в клубе, насчёт сапог плёл. Вам и так хорошо в этом виде. Конечно, я не говорю, есть такие, встречаются, что ей казённая форма, как корове чепчик... Но к вам не относится. Вам сейчас сменяться? Я подожду, подвезу вас.

А у неё было очень усталое лицо, всё в копоти... Целую ночь простояла девушка здесь, не сходя с поста, на пылавшем перекрёстке, у порта, куда немцы бросили сотни зажи-

гательных бомб. И она ничего не ответила Васе. Только улыбнулась и тихо сказала:

— А босоножки сгорели... Я их у подруги брала. Она взяла, а к ней зажигалка в дом попала.

Скоро пришла её смена. Василий взял Марусю под руку — она шаталась от утомления. Он посадил девушку в кабину рядом с собой и повёл машину со всей нежностью, на какую способен только влюблённый шофёр. И она скоро заснула, доверчиво положив голову в милицейской фуражке ему на плечо. Василий вёл машину с необыкновенной осторожностью, объезжая все канавки.

Пятитонка шла, словно на цыпочках.

И стоявший у дверей управления порта старый боцман с «Розы Люксембург», узнав Васю, озадаченно пробормотал:

— Гляди, никак наш Вася Лобачёв... с постовым в обнимку катит... Тю, да то никак Маруся... Ай, моряк! Кто же это кого забрал, не разбери-поймёшь: она его или, обратно, он её...



ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА ПЕСНИ

Если бы я написал об этом рассказ, я бы назвал его так: «Вторая половинка песни». Только я не напишу про это рассказа: наперёд знаю, что все решат, будто я придумал всю эту историю, и скажут: «Сочинил! Так в жизни никогда не бывает...» А вот, оказывается, иной раз и так бывает! Придумать такую историю — дело не очень хитрое, самое интересное как раз в том, что я тут ничего не придумал. Всё это правда.

Шёл к нам осенью 1942 года из Америки и из Англии большой караван судов. Вместе с кораблями союзников плыли и наши торговые суда. Когда караван приблизился к нашим северным берегам, немцы послали на него тучу бомбардировщиков и воздушных торпедоносцев.

Раздалось несколько взрывов. Пламя взметнулось выше мачт над одним из больших пароходов союзников. Огненные вспышки раздёрнули нависавший туман. И тут все увидели, как матросы горевшего корабля стали тушить пожар. Через полчаса пожар был потушен. И пароход благополучно пришёл в один из наших северных портов.

Не участвовал в тушении пожара на своём пароходе лишь один человек. Это был электрик Джордж Р. Взрывом его выбросило в море. Бедняга уже захлёбывался, когда его заметили с одного из наших кораблей. Джорджа спасли. Лютая вода Варенцова моря, двадцать минут державшая парня в своей ледяной хватке, чуть было не заморозила его насмерть. С большим трудом отходили его наши моряки. Джорджу пришлось долго отлёживаться в госпитале на берегу. Потом он поправился и стал прогуливаться по городу. Я познакомился с ним. Это был невысокий светлоглазый паренёк. Он носил коричневую куртку из замши, которая немножко покоробилась от долгого пребывания в

морской воде. Ходил он без шапки, подставив полярному ветру широкий лоб и белокурые мягко вьющиеся волосы. На поясе хлопчатобумажных синих, грубо пошитых брюк с большими карманами висел матросский нож.

В те дни по дощатым тротуарам нашего северного города прогуливалось много гостей, приплывших с заморских берегов. Встречались широкогрудые, рослые канадцы, мелозубые курчавые негры, круглобродые ирландцы, загорелые ковбои из Оклахомы, расторопные ньюйоркцы, смуглые остролицые таитяне... Каких только языков и наречий не слышались мы! По вечерам все собирались в Интернациональном клубе моряков. Люди с разных берегов океана встречались здесь за шахматной доской, спорили о военных делах у большой карты, расспрашивали наших моряков о законах и обычаях Советской страны, танцевали под радиолу и пели неизвестные нам песни. Задумали устроить вечер самодетельности. Среди иностранных гостей оказалось немало певцов, музыкантов и танцоров. Нашлись даже фокусники и жонглёры. Стали просить и Джорджа выступить на вечере.

— О, Джордж у нас — такой замечательный певец. Он обязательно должен спеть песенку про «Ферму дядюшки Дика». Как это там поётся? «Были на ферме дядюшки Дика три телёнка, три гусёнка, три поросёнка... му-му-му, га-га-га, хрю-хрю-хрю...»

Но Джордж печально посмотрел на товарищей своими светлыми глазами и сказал, что он не может петь эту песню один.

— Я привык петь её только с братом Биллем, — грустно проговорил он, — а я не знаю, где сейчас Билль, жив ли он, бедняга. Мы с ним близнецы. Я опередил его при рождении всего лишь на 15 минут. Мы с ним всегда пели эту песню вместе у себя на ферме, в штате Виргиния. И играли на банджо... А теперь у меня и банджо сгорело при взрыве.

— Мы достанем тебе другое банджо, — сказал боцман с английского парохода.

— Да, но вы не станете мне другого Билля, — отвечал Джордж. — Билль ещё раньше меня ушёл в дальний рейс. Но я не знаю, куда. Ведь об этом не говорят. Сейчас на море всё приходится держать в тайне, чтоб эти проклятые «джерри» (так Джордж называл немцев) не пронюхали, куда

идут корабли. Наверное, его потопили. А без моего Билла песня — полпесни, а сам я — только половина человека, не больше.

Но всё-таки мы решили уговорить Джорджа. Нам очень хотелось услышать песенку о «Ферме дядюшки Дика». Раздобыли банджо и так дружно наседали на Джорджа, что в конце концов он согласился. Теперь он ежедневно приходил в клуб и подолгу терпеливо просиживал около рояля, вяло тренькал на банджо и напевал вполголоса свою песенку под аккомпанемент клубной пианистки Марии Игнатьевны. Но дело у него, действительно, не ладилось...

Однажды я пришёл в Интернациональный клуб моряков, чтобы послушать, как идёт репетиция: вечер моряков был назначен на завтра. В коридоре клуба, за поворотом у лестницы, я едва не натолкнулся на Джорджа. Он показался мне осунувшимся и немного растерянным. Он странно осматривался, словно в первый раз попал к нам в клуб. Я приветствовал его. Джордж посмотрел на меня, как на незнакомого, и в его светлых глазах мелькнуло удивление.

— Хелло! Репетиция уже началась. Поспешите, вы опаздываете, — сказал я.

— Репетиция? — с изумлением переспросил меня Джордж.

В это мгновение из зала донеслись звуки рояля и банджо, и я услышал там, за дверью, голос Джорджа, напевающего уже знакомую нам песенку:

«Жили на ферме у дядюшки Дикки...»

Я решил, что схожу с ума. Сам Джордж стоял передо мной, а голос его раздавался там, за дверью. Но ещё большее впечатление произвёл этот голос на моего собеседника.

— Джордж!!! — закричал он и, оттолкнув меня, бросился в зал.

Песня в зале сразу оборвалась. Я поспешил туда и увидел, что около рояля стоят два совершенно одинаковых Джорджа: оба голубоглазые, белокурые, оба в коричневых замшевых куртках, грубых штанах из синей хлопчатки. Они стояли около растроганной Марии Игнатьевны, звонко хлопали друг друга по спине, обнимались, трясали один другого за плечи, отшатывались в стороны и снова бросались сразмаху во взаимные объятия.

Обратив минут через пять внимание на нас, Джордж, а может быть, Билл, я уже не мог различить их, так они были похожи друг на друга, — словом, один из близнецов рассказал, что брат шёл в другом караване, корабль был

торпедирован и стал опрокидываться. Но тут подоспел советский миноносец. Русские моряки бросились в ледяную воду и спасали тонувших людей. Так очутился на нашей земле и брат Билль, вторая половинка нашего Джорджа, без которого и песня не пелась. Он только сегодня выписался из госпиталя.

А на другой день — это было в воскресенье — состоялся большой вечер в клубе моряков. И так как обе половинки знаменитой песенки теперь нашлись, то мы, наконец, услышали её полностью в исполнении двух братьев — Джорджа и Билля Р.:

«Жили на ферме у дядюшки Дикки
Разные звери — свирепы и дики:
Три телёнка, три гусёнка, три поросёнка,
Три кутёнка, три котёнка, три курёнка,
Три утёнка, три ягнёнка,
Три индюшонка...
И... осёл!
Му-му-му-у! Га-га-га-а!
Хрю-хрю-хрю-у!
Хау-хау-хау! Мяу-мяу-мяу!
Ко-ко-ко-о!
Кря-кря-кря-а! Бэ-е-е-е-э!
Былы-былы-был-был!
Йо-го-го-о!!!»

И в переполненном зале канадцы, негры, австралийцы, ирландцы, лондонцы и русские, матросы всех океанов и морей, на разные голоса подхватывали припев:

«Му-му-му-у! Га-га-га-а!
Хрю-хрю-хрю-у!
Хау-хау-хау! Мяу-мяу-мяу!
Ко-ко-ко-о!
Кря-кря-кря-а! Бэ-е-е-е-э!
Былы-былы-был-был!
Йо-го-го-о!!!»

Но главный сюрприз был припасён к концу вечера. Братья объявили, что за вчерашний день они разучили вдвоём одну из любимых песен той великой страны, на берегах которой они снова нашли друг друга. И, accompa-

нируя себе на банджо, не сводя друг с друга глаз, они тщательно пропели нам «Сулико», строго выговаривая трудные для них слова:

«Доллго я томиллся и искалл...
Где же ти, моя Зюлико?..»

Кто из близнецов пел лучше, я не знаю, потому что так и не мог разобраться, где на сцене стоит Джордж, а где Билль...

Успех они разделили по-братски, пополам.



БАТАРЕЙНЫЙ ЗАЯЦ

Далеко на севере, на самом краю нашей земли, у холодного Варенцова моря, стояла всю войну батарея знаменитого командира Поночевного. Тяжёлые пушки укрылись в скалах на берегу — и ни один немецкий корабль не мог безнаказанно пройти мимо нашей морской заставы.

Не раз пробовали немцы захватить эту батарею. Но артиллеристы Поночевного и близко к себе врага не подпускали. Хотели немцы уничтожить заставу — тысячи снарядов посылали из дальнобойных орудий. Устояли наши артиллеристы, и сами таким огнём ответили врагу, что вскоре замолчали немецкие пушки — разбили их меткие снаряды Поночевного. Видят немцы: с моря не взять Поночевного, с суши не разбить. Решили ударить с воздуха. День за днём посылают немцы воздушных разведчиков. Коршунами кружились они над скалами, высматривая, где спрятались пушки Поночевного. А потом налетали большие бомбардировщики, швыряли с неба на батарею огромные бомбы.

Если взять все пушки Поночевного и взвесить их, а потом подсчитать, сколько бомб и снарядов обрушили немцы на этот клочок земли, то выйдет, что вся батарея весит раз в десять меньше, чем страшный груз, сброшенный на неё врагом...

Я бывал в те дни на батарее Поночевного. Весь берег там был разворочен бомбами. Чтоб пробраться к скалам, где стоят пушки, пришлось перелезть через большие ямы-воронки. Некоторые из этих ям были так просторны и глубоки, что в каждой из них уместился бы цирк с ареной и местами для зрителей.

С моря дул холодный ветер. Он разогнал туман, и я рассмотрел на дне огромных воронок маленькие круглые озёра. У воды сидели на корточках батарейцы Поночевного и мирно стирали свои полосатые фуфайки. Все они недавно были моряками и нежно берегли матросские тельняшки, которые им остались на память о флотской службе.

Меня познакомили с Поночевным. Весёлый, немножко курносый, с хитрыми глазами, смотревшими из-под козырька морской фуражки. Только мы разговорились, как сигнальщик на скале закричал:

— Воздух!

— Есть! Завтрак подан. Сегодня завтрак дадут горячий. Укрывайтесь! — проговорил Поночевный, оглядывая небо.

Небо загудело над нами. Двадцать четыре «юнкерса» и несколько маленьких «мессершмиттов» летели прямо на батарею. За скалами громко, торопясь, застучали наши зенитки. Потом тонко заверещал воздух. Мы не успели добраться до укрытия — земля охнула, высокая скала недалеко от нас раскололась, и камни завизжали над нашими головами. Твёрдый воздух ушиб меня и повалил на землю. Я заполз под нависшую скалу около берега и прижался к камню. Я чувствовал, как ходит подо мной каменный берег.

Грубый ветер взрывов толкался мне в уши и волок из-под скалы Цепляясь за землю, я, что есть силы, зажмурил глаза.

От одного сильного и близкого взрыва глаза у меня сами раскрылись, как раскрываются окна в доме при землетрясении. Я уж было собрался опять зажмуриться, как вдруг увидел, что справа от меня, совсем близко, в тени под большим камнем, шевелится что-то белое, маленькое, продолговатое. И при каждом ударе бомбы это маленькое, белое, продолговатое смешно дрыгалось и снова замирало. Меня так разобрали любопытство, что я уже не думал об опасности, не слышал взрывов. Мне только хотелось узнать, что за странная штука дрыгается там под камнем. Я подобрался ближе, заглянул под камень и рассмотрел белый заячий хвостик. Я подивился: откуда он здесь? Мне известно было, что зайцы туг не водятся.

Грохнул близкий разрыв, хвостик судорожно задёргался, а я поглубже втиснулся в расщелину скалы. Я очень сочувствовал хвосту. Самого зайца мне не было видно. Но я догадывался, что бедняге тоже не по себе, как и мне.

Раздался сигнал отбоя. И тотчас я увидел, как из-под камня медленно, задом выбирается крупный заяц-русак. Он вылез, поставил торчком одно ухо, затем поднял другое, прислушался. Потом заяц вдруг сухо, дробно, коротко пробил лапами по земле, словно сыграл отбой на барабане, и запрыгал к батарее, сердито прядая ушами.

Батарейцы собрались около командира. Сообщали результаты зенитного огня. Оказывается, пока я там изучал зайкин хвост, зенитчики сбили два немецких бомбардировщика. Оба

упали в море. А ещё два самолёта задымили и сразу повернули домой. У нас на батарее бомбами повредило одно орудие и осколком легко ранило двух бойцов. И тут я опять увидел косога. Заяц, часто подёргивая кончиком своего горбатого носа, обнюхал камни, потом заглянул в капонир, где укрывалось тяжёлое орудие, присел столбиком, сложив на животике передние лапы, осмотрелся и, словно заметив нас, напрямёхонько направился к Поночевному. Командир сидел на камне. Заяц подскочил к нему, забрался на колени, упёрся передними лапками на грудь Поночевного, дотянулся и стал усатой мордочкой тереться о подбородок командира. А командир обеими руками гладил его уши, прижатые к спинке, пропускал их через ладони... Никогда в жизни не видел я, чтоб заяц держался так вольно с человеком. Случалось встречать мне совсем ручных заек, но стоило коснуться ладонью их спины, и они замирали от ужаса, припадая к земле. А этот держался с командиром за панибрата.

— Ах ты, Зай-Заич! — говорил Поночевный, внимательно осматривая шкуру своего приятеля. — Ах ты, нахальный зверюга... не покорябало тебя? Не знакомы с нашим Зай-Заичем? — спросил он меня. — Это мне подарочек разведчики с Большой Земли привезли. Паршивенький был, малокровный такой с виду, а у нас отъелся. И привык ко мне, зайчатина, прямо ходу не даёт. Так и бегаёт за мной. Куда я — туда и он. Обстановка у нас, конечно, для заячьей природы не очень подходящая. Сами могли убедиться, шумно живём. Ну, ничего, наш Зай-Заич теперь уже малый обстрелянный. Даже ранение имел, сквозное.

Поночевный взял осторожно левое ухо зайца, расправил его, и я увидел зарубцевавшуюся дырочку в лоснящейся, плюшевой, розоватой изнутри коже.

— Осколочком прошибло. Ничего. Теперь зато в совершенстве изучил правила ПВО. Чуть налетят, — он уже мигом где-нибудь укроется. А один раз было, так без Зай-Заича была бы нам полная труба. Честное слово! Долбили нас часов тридцать кряду. День полярный, солнце на вахте круглые сутки бесценно торчит, ну вот немцы и пользовались. Как это в опере поётся: «Ни сна, ни отдыха измученной душе». Так вот, стало быть, отбомбили они, наконец, ушли. Небо в тучах, но видимость приличная. Огляделись мы: ничего как будто не предвидится. Решили отдохнуть. Сигнальчики наши тоже притомились, ну и проморгали. Только смотрим: Зай-Заич тревожится что-то. Уши наставил и передними лапами чечётку

бьёт. Что такое? Нигде ничего не видно. Но знаете, какой у зайца слух? Что же вы думаете, не ошибся зайчина. Все звукоуловители опередил. Сигнальщики наши только через три минуты обнаружили самолёт противника. Но я уже успел на всякий случай команду дать заранее. Приготовились в общем к сроку. С того дня уже знаем: если Зай-Заич ухо наставил, чечётку бьёт, — следи за небом.

Я поглядел на Зай-Заича. Задрал хвостик, он резво прыгал на коленях у Поночевного, искоса и с достоинством, как-то совсем не по-заячьи, озирал стоявших вокруг нас артиллеристов. И я подумал: «Какие же смельчаки, наверное, эти люди, если даже заяц, немного пожив с ними, сам перестал быть трусом!»



СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Люди этого возраста	3
Абсолютный слух	10
Состоится при всякой погоде	19
Зелёная веточка	27
Золушка с Морской, или Левый поворот	32
Вторая половинка песни	39
Батарейный заяц	44

Отв. редактор А. Сурков.

А01970 Тираж 100.000 Подписано к печати 27/IV.1½ п. л. Заказ 294

Типогр. газеты «Правда» имени Сталина. Москва, ул. «Правды». 24

Цена 60 коп.